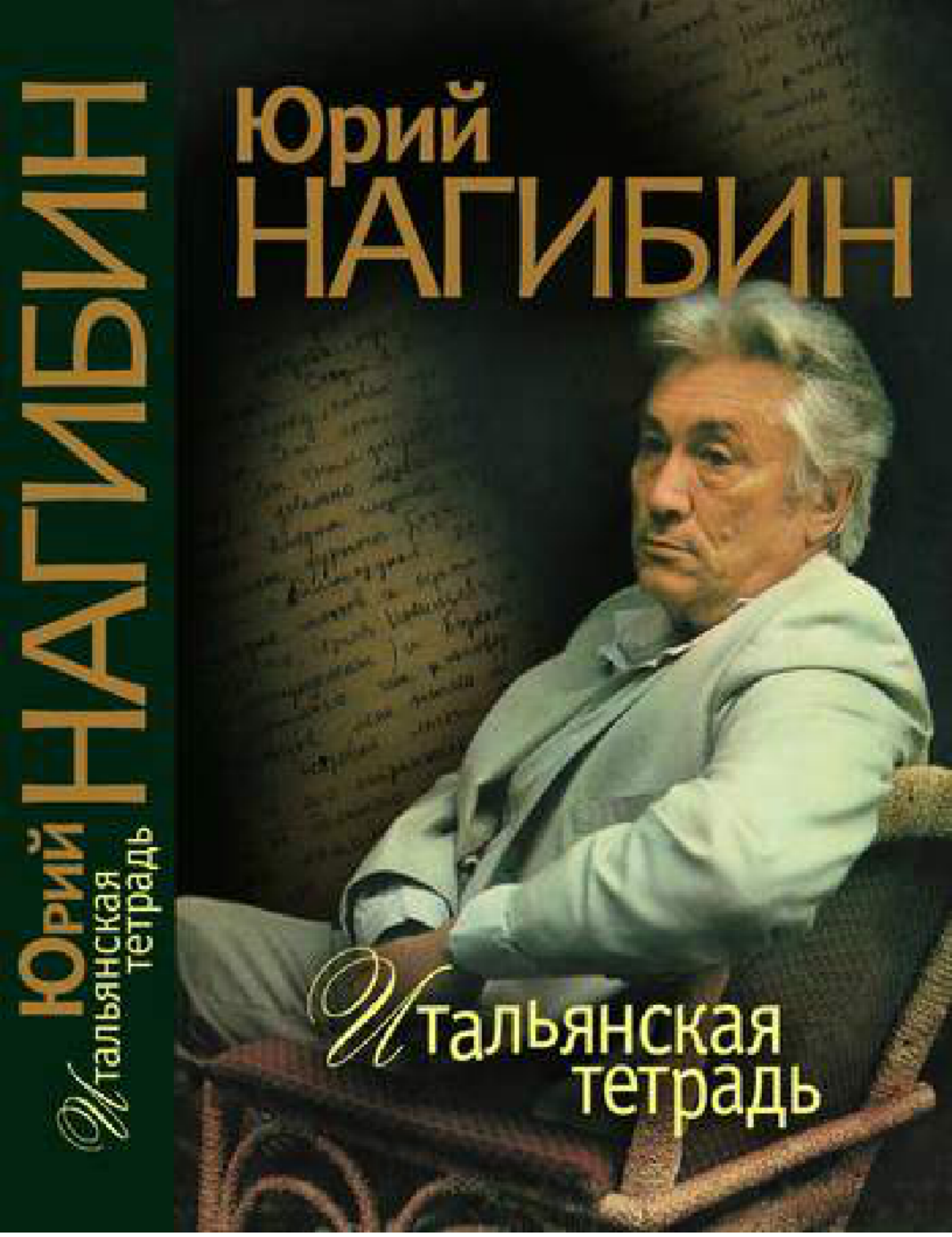
Юрий
НАГИБИН
Итальянская тетрадь
Юрий НАГИБИН
Итальянская тетрадь

SHOUT
SHARE
IT

- Юрий Нагибин

Юрий Нагибин
Чайковский: финал трагедии

Когда уходит творческая личность такого масштаба, как Чайковский, она оставляет потомкам некие трудно формулируемые обязательства в отношении себя, куда, как самое незначительное, входят юбилеи. Эти обязательства я бы назвал поддержанием достоинства имени. Последнее — тонкое и сложное дело, не имеющее ничего общего с цезарийским обожествлением. В наших условиях, когда все фальсифицировано — и настоящее, и прошлое, и будущее, — истинное уважение к ушедшему гению может быть выражено порой в «снижении» его образа, если того требует правда. Я беру в кавычки слово «снижение», ибо никакая истина не может унизить великого творца, разве что в глазах безнадежных филистеров.

В «хозяйстве» Чайковского царит такая же неразбериха, такой же развал, как и во всех других областях нашей скорбной жизни. И здесь под дырявой завесой официального пышнословия — равнодушие, неуважение, порой открытое хамство. Мне пришлось с этим не раз сталкиваться за последнее время.

…Ранней весенней порой я отправился на концерт в Большой зал консерватории, где народная артистка СССР Маквала Касрашвили исполняла романсы Чайковского. Это был один из концертов юбилейного цикла.

Март — тяжелый месяц, он соединяет в себе все худшее от зимы и все худшее от весны. В слякотно-склизкий, мешающий снег с дождем, продуваемый железным ветром вечер пустился я в путь на встречу с музыкой, и в душе звучали отголоски радости, оставшейся от юных дней, когда посещение концерта, спектакля было праздником. Этот праздник угас с приближением к консерватории. Улица Герцена — в части, примыкающей к храму музыки, — была перекопана, перекорежена и перекрыта. Таких ужасных земляных работ я не видел даже в Москве. Привычная, милая и радостная суетня у консерваторских дверей обернулась гибелью Помпеи.

В вестибюле афиши концерта не оказалось. Было много афиш других юбилейных концертов, посвященных инструментальной, преимущественно фортепианной, музыке Чайковского. И почему-то на последних половина программы была отдана Рахманинову. Неужели фортепианное наследие Петра Ильича так бедно, что его нужно подкреплять творчеством высокоталантливого последователя? Скорее всего, никакого расчета тут не было. А что

же было? Андрей Платонов любил рассказывать: «У артели „Юный коммунар“ сидит дряхлый-предряхлый сторож. Двое детей, пораженные контрастом объявленной над входом в артель юности и мафусаиловым возрастом стража, спрашивают: „Дедушка, а почему „Юный коммунар“?“ — „Так…“ — равнодушно, не подымая глаз, отвечает старик». Платонов произносил не «так», а «тэкь». И здесь не надо выяснять, почему на концертах, посвященных Чайковскому, исполняют Рахманинова — «тэкь»… Под это «тэкь» идет вся наша жизнь.

Самое же удивительное — никаких афиш концерта Касрашвили я так и не обнаружил. Неужели отменили? Но, пробравшись к окошечку администратора, я услышал, что концерт состоится. «А почему нет афиш?» — «Тэкь…» — ответил он с выражением платоновского сторожа.

Войдя в зал, я испытал новое раздражение. Среди знакомых старых медальонов великих композиторов прошлого выделялись грубостью подделки изображения консерваторских новоселов: Шопена, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова. Я стал вспоминать: кого так самовольно выселили? Генделя, Гайдна, Мендельсона-Бартольди, Листа?.. В последнем я не был уверен. Но в чем провинились остальные? Лишь в том, что понадобились места для отечественных музыкантов, а заодно для славянина Шопена? При всем уважении к симпатичному дарованию Даргомыжского — он не принадлежит к мировой музыкальной элите в отличие от вышеназванных лишенцев. И даже творец замечательных русских опер Римский-Корсаков, если б его спросили, не посягнул бы на место гигантов, которым поклонялся. А деликатный Шопен просто умер бы от стыда при одной мысли о том, что из-за него кого-то вынесут из парадных комнат дворца музыки — консерватории имени Чайковского.

А собственно, почему консерватории присвоили имя Чайковского? Ведь она была основана Николаем Григорьевичем Рубинштейном, выдающимся пианистом и музыкальным деятелем, покровителем, потом старшим другом, блестящим исполнителем и популяризатором творчества Чайковского. Высоко над сценой висит его мраморный профиль, благородная голова увенчана лавровым венком. Очевидно, он все же признается создателем Московской консерватории. Тогда на каком же основании его детище названо именем Петра Ильича, который лишь короткое время профессорствовал в этих стенах, без охоты и тщания, ибо ненавидел преподавательскую работу? Московская консерватория по праву носила имя Николая Рубинштейна, как Ленинградская — имя своего основателя, величайшего, наряду с Листом, пианиста Антона Рубинштейна.

Сейчас она подарена творцу «Садко» и «Снегурочки». Не знаю, как Римский-Корсаков, но Чайковский, без сомнения, с возмущением отказался бы от такого дара. Он любил Николая Григорьевича, был исполнен к нему благодарности, тяжело ранен его смертью и посвятил ему скорбное трио «Памяти великого художника». Что за манера распоряжаться тем, что не тобой создано, цинично присваивать, а потом раздаривать чужие замыслы и чужой труд? И что за безбожное самоуправство? С великими покойниками ведут себя, как с живой номенклатурой: кого-то снимают, кого-то назначают, кого-то поднимают, кого-то исключают из рядов.

«А чего ты так расшумелся? — могут мне сказать. — В стране колбасы нет, а ты!..» А может, потому и нет колбасы, что слишком много обижали музыкантов и музыку, писателей и литературу, художников и живопись, ученых и науку, а в результате шатнулась и рухнула коллективная совесть, настала пустота в народной душе, и все исчезло в ничем не сдерживаемом бесчинстве власти?

Два слова о концерте — этого требует простая вежливость в отношении певицы. Концерт прошел с большим успехом почти при полном зале, что удивительно при его засекреченности.

А теперь о другом: от чего умер Чайковский? Пока писал статью, задавал разным людям этот вопрос. Иные даже не знали, что он умер, другие — что он жил, но подавляющее большинство ответило твердо: от холеры. Нашлись и более сведущие люди: Александр III приказал Чайковскому покончить с собой, если он не хочет суда и всенародного позора. Петра Ильича обвиняли в связи: по одной версии — с сыном какого-то генерала, по другой — с наследником престола. За последнего, видать, приняли друга Чайковского, великого князя Константина Романова, К. Р. — переводчика Шекспира, лирического поэта, автора текстов многих его романсов, повинного в содомии. Меня удивило, что многие из опрошенных понятия не имели о нестандартной физиологии композитора. Не торопитесь возмущаться, мои целомудренные соотечественники, сперва дослушайте.

Причины и обстоятельства смерти Чайковского широко известны во всем мире, но только не у нас. Я сожалею, что у меня под рукой нет материалов, и я не помню имен участников этой драмы, которые все установлены. Петр Ильич покончил с собой по приговору суда чести выпускников юридического училища, к числу которых сам принадлежал. Один из этих выпускников занимал высокий пост в канцелярии государя. Через его руки прошло письмо некоего барона с жалобой на Чайковского, якобы совращающего его сына. Высокопоставленный канцелярист решил, что эта жалоба будет иметь роковые последствия:

государь предаст Чайковского публичному суду, позор ляжет на все юридическое сословие, а уж на бывших соучеников виновного — и подавно. Он немедля собрал суд чести, пригласили Чайковского. Среди судей оказался правовед, в которого в студенческие годы Петр Ильич был беззаветно и чисто влюблен. Приговор был единодушный: уйти самому и тем спасти собственную и корпоративную честь. Петр Ильич безропотно повиновался — он принял яд. Только самые близкие люди и лечащий врач знали истинную причину смерти, для всех остальных он умер от холеры. Царь Александр узнал правду и сказал со слезами в полных, как у спаниеля, глазах: «Экая беда! Баронов у нас хоть завались, а Чайковский один!» И распорядился соборно хоронить своего любимого композитора. Такие похороны Петербург видел лишь однажды, когда провожали в последний путь Достоевского. Отпевали Чайковского в Казанском соборе, тело предали земле в Александро-Невской лавре. Над гробом ледяную речь произнес один из судей. Тот, которого он так любил в молодости.

Я полагаю, что не все читатели периодики, в чьей культурной подкованности нет сомнения, достаточно сведущи в проблемах однополой любви. О голом разврате я не говорю, он вне нашей темы. Случаются — и далеко не редко — существа мужского пола, в организме которых превалируют женские гормоны. И тут не поможет ни бравый вид, ни борода и усы — природу не обманешь: это женщины с естественной тягой к носителям мужского начала. Вполне понятно, что женщины их отвращают. Все это выпало на долю несчастного Петра Ильича.

Насколько известно, никто из знаменитых урнингов не страдал от своей физиологической исключительности: ни Микеланджело, ни Шекспир, ни Уайльд, ни Уитмен, ни Марсель Пруст, ни Андре Жид, ни Жан Кокто, ни Дягилев, ни Михаил Кузмин. Для многих из них вывернутая (ни в коем случае не извращенная) сексуальность стала творческим импульсом: культ мужского тела у Микеланджело, Смуглая леди сонетов Шекспира — мужчина, «В поисках утраченного времени» — энциклопедия Содома и Гоморры, теми же мотивами исполнены проза Уайльда, Андре Жида, проза и поэзия Михаила Кузмина. У других физиология не коснулась творчества (Бенвенуто Челлини, Шелли, Уитмен). И никому это не отравляло жизнь. А Петр Ильич мучительно страдал и упорно, безнадежно насиловал свою душу и плоть, чтобы стать таким, как все.

Еще в молодости, влюбившись (во всяком случае, убедив себя, что он страстно, пламенно влюблен) в певицу Дезире д'Арто, Петр Ильич сделал ей предложение. Казалось, и Дезире

разделяет его чувства. Но дело как-то застопорилось. Дезире уехала из России, а потом вернулась с мужем — дураком-баритоном, которого прежде в грош не ставила. В тех русских источниках, которыми я располагал, работая в свое время над киносценарием, об этом неудачном сватовстве говорится или с простодушным сочувствием, или с недомолвками, недоговорами, что появляются у наших авторов, когда затронута их стыдливость или когда нельзя говорить правду. У меня создалось впечатление, что Петр Ильич замешкался, неуверенный в своей возможности составить счастье женщины, а проницательная, испытанная в страстях оперная дива что-то смекнула и облегчила милому ей человеку и музыканту выход из затруднительного положения. Петр Ильич глубоко и долго страдал. Но язык не повернется считать эту робкую любовную историю неудачей, если она подарила миру фортепианную пьесу и романсы «Ни слова, о друг мой», «Нет, только тот, кто знал», «Не верь, мой друг», «День ли царит», «Забыть так скоро».

И еще раз Петр Ильич пытался обмануть природу: он женился на Антонине Ивановне Милюковой, нимфоманке и авантюристке, ловко прикинувшейся музыкантшей и его страстной поклонницей. На редкость удачный выбор! В первую же брачную ночь его постиг нервный припадок, он кричал, трясся, плакал, терял сознание…

Общеизвестны слова Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи…» Видимо, музыка нередко творится из того же материала. Но из сора своей поспешной и спасительной, как казалось несчастному, женитьбы Петр Ильич ничего не извлек: музыка надолго отказала, его постиг тяжелый нервный кризис. Надежда Филаретовна фон Мекк, уже ставшая его ангелом-хранителем, выкупила страдальца из супружеского плена. Впрочем, Милюкова еще не раз напоминала о себе бывшему мужу, предлагая усыновить появлявшихся у нее время от времени детей и усугубляя навек поселившуюся в нем меланхолию. Петр Ильич никогда не был жизнерадостным весельчаком, но после неудачной женитьбы грусть стала с ним неразлучна.

Этот настрой усугублялся вечным ожиданием разоблачения. В нем исток тех мучительных приступов необъяснимого житейски страха, которые постигали Петра Ильича то в купе поезда, то в гостиничном номере, то в собственном кабинете, то посреди ночи в постели. Все больше становилось черных дней у этого по природе своей светлого, легкого, готового к радости человека. Таким изредка являлся Чайковский своим близким и друзьям, и тогда никто не мог сравниться с ним в обаянии, остроумии, блеске ума. Но недолго светило солнце, вновь накатывали тучи

тоски, страха, отчаяния.

«Роман невидимок», о котором немало, но крайне застенчиво сказано в нашей литературе, ибо тут тоже имеется причина для ханжеских умолчаний — материальная зависимость композитора от Надежды фон Мекк, — в свою очередь явился для Чайковского источником тяжких мук. Меньше всего смущала Петра Ильича та крупная сумма, которую ежегодно выплачивала ему Надежда Филаретовна, он умел давать и брать, не сосредоточивая на этом душевного внимания. С печалью и страхом он очень скоро обнаружил, что Надежда Филаретовна не только почитательница его музы и щедрая меценатка, но и влюбленная в него женщина. И тут началась двойная мука: он боялся с ней встретиться и равно боялся, что она догадается, почему он ее избегает.

Каждый божий день начинался для него со страха: она все знает, — а вечером он вздыхал с облегчением: пронесло, на этот раз пронесло. Надолго ли?.. Он нуждался в материальной поддержке фон Мекк и не меньше — в ее слепой вере в его талант — Надежда Филаретовна задолго до всех музыкальных знатоков увидела в бедном консерваторском профессоре и композиторе-неудачнике гения, который станет в ряд с величайшими из величайших, ему нужна была и она сама в… письмах. Чайковский не мог ответить на любовь Надежды Филаретовны так, как ею трепетно ожидалось, он не мог быть ей «милым мужем», но последнее имя, которое он произнес, умирая, было: «Надежда»…

К тому времени добрые души сумели донести до ушей Надежды Филаретовны «стыдную» тайну ее кумира. Фон Мекк поступила как настоящий светский человек: лишила Чайковского расположения, пенсиона и писем. Ее отступничество было едва ли не самым сильным ударом в жизни Чайковского. И не в денежной поддержке тут дело, к этому времени неплохие гонорары приносили ему сочинения и концерты, к тому же государь положил ежегодное пособие. Но оправдывались и наихудшие опасения: ему не место среди порядочных людей, и неизбежен час окончательного позорного разоблачения. В какой-то мере он оказался подготовленным к тому беспощадному суду чести, который был уже не за горами. А Надежда Филаретовна оплатила свой жестокий поступок потерей рассудка. Она кончила жизнь в сумасшедшем доме.

Грусть — превосходный материал для лирического творчества, но Чайковский не стал бы Чайковским, если б работал только на этом материале. Трагическое давно уже наращивалось в его музыке, а в том душевном состоянии, в котором он находился после утраты самого близкого духовно человека, в предчувствии конца, овладело им безраздельно. Шестая

симфония могла и должна была появиться только в это время. Чайковский заглянул в глаза смерти и не отпрянул в ужасе и отчаянии. «Патетической» назвал он симфонию, не оставив себе иллюзии, что за смертью есть что-то, кроме пустоты, и принял такой исход, ничуть не обесценивающий чуда жизни.

Через несколько дней после исполнения симфонии Чайковскому на собственном опыте довелось проверить истинность своего художнического отношения к небытию. Это, пожалуй, единственный в истории искусства случай такой страшной и окончательной проверки искренности и правды. И Петр Ильич не дрогнул.

Нельзя дважды приговаривать к смерти, но можно умерщвлять память о человеке, восхваляя ушедшего за качества и свойства, ему не присущие. Во всем огромном мире ведома правда о мученической жизни Чайковского, искупившего этой мукой то, что искупать не нужно, и о страшном исходе. Только соотечественники так стерильно чисты, что просто не могут принять правду о жизни и смерти того, кто ввел российскую свирель в мировой оркестр. Как это жестоко и как больно!

Не надо пышных жестов. Но может, пора уже благодарно и покаянно принять истинный человеческий образ великого художника — мученика и жертвы.

Сто лет назад неожиданно оборвалась жизнь Петра Ильича Чайковского. Он только что закончил и исполнил Шестую симфонию («Патетическую»), лучшее, как он знал, а вскоре это поймут и другие, свое произведение, был на подъеме душевных и телесных сил, и вдруг — короткая болезнь и смерть. Как официально считалось — от холеры. Да, в Санкт-Петербурге свирепствовала холера, ежедневно люди в халатах с капюшонами, похожими на одеяние святой инквизиции, собирали и увозили для сожжения трупы несчастных. Но тело покойного композитора не сожгли, ему повелением государя-императора Александра III устроили соборные похороны. Для прощания открытый гроб был выставлен в Казанском соборе — честь, которой удостаивались лишь августейшие особы и высшие сановники.